

Валерий ГРИШКОВЕЦ

ОТЕЦ

(Окончание. Начало в № 1).



ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Одно из редких фото отца Валерия Гришковца Федора Феодосьевича.

когда я сказал, что если не заплатит штраф в 3 злотых, то гармонь не отдам. Тогда Гришковец силой стал вырывать гармонь у солтыса. Во время вырывания гармони Гришковец ударил меня в грудь, а солтысу вывихнул палец и гармонь разорвал на 3 части, причем 2 части забрал с собой, а 3-ю отдал добровольно, так как не представляла собой ценности. Ввиду сильного сопротивления позвал на помощь полицию и на следующий день вошли с полицейским в его дом. Гришковец повторно отказался платить штраф. Ввиду этого с помощью полицейской силы я забрал у него 3 злотых...»

К протоколу приложены объяснительная сборщика налогов, солтыса и отца. Из его объяснительной следует, что он нарушал общественный порядок еще ранее — летом 1935 года.

жертв ковида на Пинщине. Это эссе я посвящаю памяти своих родителей — Федора Феодосьевича и Марии Борисовны — и, конечно же, памяти Александра Ильина. Благодаря ему и состоялось это эссе, а еще я многое узнал о своем отце. Признаться, я забыл, как звали его мать, мою бабушку. Она умерла в 1928 году от какой-то эпидемии. Оказывается, Пелагея. Теперь буду знать и обязательно указывать в поминальной записке.

Из выписки польского городского суда Пинска узнал и о том, что образование отца — 3 класса польской начальной школы. А мне почему-то помнилось, что батя говорил — окончил всего один класс...

Годам к 14 я окончательно заболел писанием стихов, все меньше времени уделял учебе и все больше, как говорил батя, «пресиживал штаны за дурницей». Так он называл не только мои стихотворные мытарства, но и все, что я делал, как он считал, ненужного и пустого. Батя изначально не одобрял мои поэтические потуги. Мало того, он буквально требовал, чтобы я «бросил эту дурницу!». Ну а когда стало ясно, что это — писание стихов — со мной навсегда, отец как-то сказал мне довольно дружески, вроде как попросил: «Нэ пишы тылько про Ленина и партию». А я писал. И писал немало всего всякого: работал в газете, а жить в обществе и не быть зависимым от него, говорил тов. Ленин, невозможно...

Ну а стихи я посвящал... самому себе! О чем бы и ком бы я ни писал, всегда, как теперь окончательно понял, писал и пишу про себя.

В заключение, думаю, будет уместным привести запись дневника от 20 апреля 1997 года.

Лет около двадцати тому я написал стихи, посвященные отцу. Одобрил бы он их? Скорее всего, нет. Батя был человеком не тщеславным, никогда не делал что-либо напоказ. Хотя мастерил много всего такого, мог бы и похвалиться. В делах хозяйских с него можно было брать пример. Уж если что-то делал, то делал хорошо, качественно, красиво, в работе всегда был очень аккуратен. Помню, как соседские мужики посмеивались с бати, вот, мол, Федя даже дрова по мерке режет. А батя действительно для каждой печки-грубки, а также для кухонной плиты заготавливал дрова точно по мерке, им же и снятой. И кострища в нашем дворе всегда были ровные, сразу можно было узнать, где и для какой печки брать дрова.

Что же было в отце моем русского? В Войске Польском когда-то служил. И дорогой, горбатой да узкою, Словно конь, батя рвался из жил.

Невысокий, а выправка, выправка! На подбор, выжил кто, мужики! Говорил с диалектом, а выпьет как: — Что ж мы, русские, все — дураки?..

Эх, веселые вы да двужилые, Что ж вы нажили-то, чудаки? Нынче делят гербы фамильные, Достают из могил стяги...

Что ж мне выпало отчее, кровное? Знаю, батя, пушта твоя клеть, — Взбунтовалась душа непутевая, Возжелала по-русски запеть...

Что русского было в батюшке моем?

бежал. Днем прятался в лесу, а ночью шел к дому, ночевал в клуне, на отшибе двора...

Отец, сколько я его помню, всегда был человеком сдержанным, даже тихим, правда, тихоней не был. Самое странное, мы никогда не говорили, что называется, по душам. Я рано стал загуливать, водиться со шпаной. Еще учась в школе, уже повзрослев, не раз приходил домой с «фонарями», с запашком дешевого вина. Кому такое понравится? Но, что удивительно, батя меня не отчитывал. Так, горько кивал головой, мол, пропащий ты хлопец...

Я и близко не предполагал, что по молодости лет батя и сам был не в ладах с законом. Еще до прихода Советской власти в Западную Белоруссию, когда его за опоздание на работу укатали в каталажку. Лет пятнадцать тому пинский краевед и литератор, преподаватель Полесского государственного университета Александр Ильин, работая в Брестском областном архиве, наткнулся на протокол польского «судебного исполнителя Петемковского Антона, сына Николая, 41 года, католика, сборщика налогов». Приведу некоторые фрагменты. Протокол составлен по-русски, но с большим количеством ошибок, как грамматических и пунктуационных, так и стилистических. Тем не менее, это документ эпохи, так что...

«16 мая 1939 года в 14 часов, будучи в Завидчицах, гм. (гмина — вроде нашего сельсовета. — Прим. авт.) Хойно, направился вместе с солтысом (старостой. — Прим. авт.) этого села Якимчуком Григорием к Федору Гришковцу, где забрали гармонь за неуплату штрафа, наложенного на него пинским старостом. После выхода на улицу подбежал к нам Гришковец Федор с требованием отдать ему гармонь. А

и отца. Из его объяснительных следует, что он нарушал общественный порядок еще ранее — летом 1935 года. Решением Пинского городского суда в отношении бати применен полицейский надзор. Из решения суда я узнал, что «Федор Гришковец имеет в селе не очень хорошую репутацию, так как характер порывистый и склонный в авантюру. Также подозревался в нелегальном хранении (жаль, не указано чего. — Прим. авт.). У него проводили обыски, но ничего не нашли. 9 сентября 1939 года в Пинске состоялось заседание городского суда. Наказание Гришковца не превышает срока в 1 год и подпадает под декрет президента Польши об амнистии. Федор Гришковец, род. 1913 г., родители Феодосий и Пелагея, фамилия матери Меша, место рождения с. Завидчицы, гм. (гмина) Хойно, гражданство польское, национальность полешук, образование 3 класса начальной школы, холост...»

Спасибо Александру Ильину: не поленился, сделал ксерокопии протокола сборщика налогов Потемковского, объяснительных записок солтысы деревни Завидчицы и отца, а также выписки из решения Пинского суда, привез и передал мне. С Ильиным мы не были друзьями, но нас связывала любовь к Полесью, к Пинску, к литературе. По мере возможности мы общались, обменивались новостями, книгами. Я посоветовал ему исследовать «пинский период» в творчестве Евгении Янищиц. Подсказал имена людей, кто ему поможет в данной работе. Что он и сделал. А до этого никто никогда не исследовал начальный период творческого пути Янищиц, как будто она сразу на свет Божий и литературный появилась на филфаке БГУ...

Жаль, очень жаль исследователя Полессья, его истории и культуры: Александра Ильина уже нет с нами пять лет. Он стал одной из первых

и отца. В заключении, думаю, будет уместным привести запись дневника от 20 апреля 1997 года.

«С годами все чаще вспоминаю отца Федора Феодосиевича. Был он человеком добрым, мудрым. И трудяга был такой, каких теперь не особо и сыщешь. И все у нас было миром и ладом, пока я не начал «гастроли». Приду, бывало, домой с кем-нибудь из таких же «гастролеров», а он мне: «Эх, сынок, сынок, лучше с умным потерять, чем с дураком найти». А то в очередной раз собираюсь сваливать из дома в «края далекие», он, не долго думая: «Сынок, сынок, куда вороне ни лететь, везде говно клевать»...

Я потом, после его тяжелой болезни и смерти, не раз заглядывал в книги пословиц и поговорок, как русских, так и белорусских, но ничего подобного не встречал.

Разумеется, батя мой не был «святым». Любил он и выпить, и напивался порой до сильного «шатуна», но никогда не запивал, не скандалил по пьянке и уж тем более не пил в долг...

У меня много друзей. Есть и было. Были и есть подруги, спутницы, так сказать, жизни. Много и знакомых стариков, людей пожилых. Но никто и никогда не заменит мне отца — в совете, в жизненной поддержке. А слушать его я-то как раз и не слушал. Слышать — слышал, но увы... А жаль. Повторяю, был он, отец мой, человеком поистине мудрым, глубокоим, хотя и окончил всего один класс польской школы.

Сколько помню, садясь к столу и вставая из-за него, он молился. И всегда произносил одну и ту же молитву «Отче наш...». То же самое и отходя ко сну, и вставая с постели. А вот в церковь не ходил. Совсем. По крайней мере, я не припомню такого. Из-за этого у них с матерью частенько происходили перепалки. Так же поступал и отец его, мой дед Феодосий Максимович.

Мир праху твоему, батя!..»

Что русского было в батяке моем?
Вопрос, как ладонь,
твердо ставил ребром.
И правду, что маткой зовут,

от порога

Рубил без оглядки, без крика-упрека.
Я помню походку, и жесты, и голос...
А если склонялся,

то как в поле колос.

Эх, как же, бывало, кидался я в раж:
Ремнем ты вбивал

в плоть мою «Отче наш».

За это, мой батя, родимый мой отче,
Обязан всей жизнью тебе,
между прочим.

Я вором не стал,
и не стал я бандитом,
С того, что слова эти

намертво вбиты!

Да, жил непутево, любил непутево.
Да, часто не дело вело меня — слово.
Но в нем с малолетства

быть честным старался,

Хотя, незадача, молитвы чурался.
И все ж, только скрутит

и делу шабаш,

Хочу-не хочу,

а твержу: «Отче наш...»

Не припомню, читал ли я когда-нибудь стихи родителям. По-моему, не читал. Ни разу. Хотя уже в первых своих стихах я не однажды упоминал слово «мама». И, когда выводил его, думал, конечно же, о маме, своей маме. Было что-то и про отца, и про дедов и бабушек, про дядьев. Но, увы, никому из них никогда я своих стихов не читал.

Но вот, набирая эти стихи, мне почему-то казалось, что я читаю их бате. Он сидит возле грубки, подкладывает в огонь дрова, а я читаю ему стихи — как признание, пусть и запоздалое, в любви, как свидетельство непреходящей сыновней благодарности.